

«Граф'ы» на Красюковке

Улица Красюковка в Сергиеве...

*Во время революции на этой улице собралась
прежняя знать, князья, графы и постепенно
дошли здесь до полной нищеты, получив от
населения общее имя «граф'ы».*

М.М. Пришвин

В 1920-е годы на Красюковке – восточной части Сергиева – жили люди со знаменитыми фамилиями, люди, чьи предки оставили заметный след в истории России: Истомины, Лопухины, Нарышкины, Трубецкие, Голицыны, Мещерские, Челищевы и другие.

Истомины и князь И.С.Мещерский

Петр Владимирович Истомин (1880–1937) происходил из старинного дворянского рода, в котором особенно прославился участник Севастопольской обороны контр-адмирал Владимир Иванович Истомин. П.В. Истомин окончил юридический факультет Московского университета, участвовал в Русско-японской войне и был награжден георгиевским оружием. Потом служил в Москве и Петербурге – в департаменте иностранных вероисповеданий, был товарищем обер-прокурора Святейшего Синода в то время, когда пост обер-прокурора занимал Александр Дмитриевич Самарин (1915 г.). Затем наместник Кавказа великий князь Николай Николаевич пригласил его на должность заведующего канцелярией. После Февральской революции Николай Николаевич предлагал Истомину уехать с семьей за границу, но он на это не согласился. Летом 1917 года по приглашению Комаровских, с которыми он познакомился в Тифлисе, переехал в Измалково, подмосковное имение В.Ф. Комаровской.

В Измалкове Комаровские, Истомины и родственники Комаровских Осоргины прожили около шести лет. В 1923 году все они были выселены из имения, и семья Истоминых переехала в Сергиев. Жили они сначала в доме Анатолия Александровича Александрова на Бульварной улице, потом – в доме напротив, у Марии Виссарионовны Алексеевой.

Петр Владимирович сблизился с настоятелем Гефсиманского скита о. Израилем: помогал ему юридическими советами, писал для него документы. Вся семья часто бывала на богослужениях в скиту. Ксения Петровна Истомина (в замужестве Трубецкая) вспоминала: «Длилось богослужение по несколько часов, но отец выстаивал их с нами полностью. После обедни мы часто пили чай у игумена Израиля. Его кельи были расположены налево от церкви, под одной с ней кровлею. Оконце в спальне отца Израиля выходило близ алтаря в церкви. Так что он мог выслушать богослужение в своей келье...

Игумен Израиль не раз бывал у нас дома. Вспоминаю один его приезд на Рождество Христово, моленное пение и чтение в нашей комнате, а под окном кто-то из гостей увидел в палисаднике жившего по соседству сотрудника ГПУ».

«Петр Владимирович был одним из самых благороднейших и честнейших людей, каких я знал, – писал Сергей Михайлович Голицын. – Он считал, раз присягал царю, значит, не может служить Советской власти, и не пускал детей в безбожную школу, а сам их учил вплоть до 9-го класса, потом они благополучно сдавали экстерном: такой способ образования тогда разрешался. Во время НЭПа Петр Владимирович зарабатывал тем, что покупал драгоценности у бывших людей и продавал их нэпманам и иностранцам, оставляя себе какой-то определенный процент».

В ноябре 1925 года Истомина арестовали за то, что он вместе с Александром Дмитриевичем Самариным и одним из священников написал письмо Патриарху Сергию (Страгородскому), убеждая его не идти на уступки советской власти. Истомин сидел на Лубянке, причем 100 дней – в одиночной камере. Там к нему приходила мышь, он ее подкармливал и радовался ей. После его перевели в общую камеру. Уголовники относились к нему хорошо и даже не давали выносить «парашу», когда наступала его очередь, и выполнять другие, особенно грязные работы в камере.

Его приговорили к трем годам заключения на Соловках. Там первым ему встретился архиепископ Илларион (Троицкий). Владыка был в рыбацкой одежде и в высоких сапогах «бахилах». Он благословил Истомина и сказал: «Вот, Петр Владимирович, апостолы сперва были рыбаками, а потом апостолами, а мы сперва епископами, а теперь рыбаками». Истомин попал в «церковную роту», в которой было 18 епископов. Летом 1926 года к нему приезжала жена, Софья Ивановна (1886–1962). В это время на Соловках состоялся собор епископов (их количество обеспечивало кворум). Собор принял обращение к Патриарху Сергию. Передать его решили через Софью Ивановну. Она должна была заучить обращение наизусть. Архиепископ Илларион и Петр Владимирович сидели с Софьей Ивановной на больших белых камнях на берегу моря и проверяли ее. Она запомнила обращение без ошибок. Приехав в Москву, Софья Ивановна пересказала его Патриарху.

Срок пребывания Истомина на Соловках заканчивался в декабре 1928 года. Но зимой сообщения с материком не было, и его, как и других заключенных, подлежавших скорому освобождению, уже в конце лета вывезли на берег, на лесозаготовки. Его дочь, вспоминая рассказы отца, писала: «По ночам лесорубы спали у костров – на таких лесных участках могли даже не возводить бараков. За день надо было спилить и сложить определенное количество леса, за это выдавался хлеб и какой-нибудь приварок. Перевыполнение задания поощрялось незначительным увеличением пайка, а невыполнение – его урезыванием. При этом повторная недоработка на следующий день приводила к сокращению не только сегодняшнего пайка, засчитывалась и старая (скажем, вчерашняя, а то и более давняя) недоимка. В результате человек выпутаться из этого не мог, так как сокращение и без того скудного пайка часто лишало его возможности наверстать упущенное. Тогда заключенного переставали подпускать к костру, и за ночь человек замерзал».

В лагерь доставили кого-то из московского (художественного?) театра, по-моему, режиссера. Его взяли прямо с работы, чуть не во фраке и узких лакированных башмаках, последние помню точно. В таком виде его вывели на лесозаготовку, через три дня перестали подпускать к костру». Петр Владимирович тогда не был задействован на общих работах, он работал счетоводом в вагоне-лавке.

Вернуться в Сергиев Посад ему не пришлось. Софья Ивановна с детьми Сергеем и Ксенией жила там до мая 1928 года (еще в 1926 году они были объявлены лишенцами), когда она и ее восемнадцатилетний сын Сергей были арестованы. Перед этим кто-то выстрелил в окно зав. агитпропа Сергиевского укома ВКП (б), возможно, ревнивая жена, и по этому делу было арестовано 80 человек. На вопрос следователя, он ли это стрелял, Сергей ответил: «Я бы не промазал, я бы попал». Истомины получили «минус шесть», то есть запрещение жить в шести городах и областях, и уехали в Тверь. А в конце 1928 года в Тверь приехал и Петр Владимирович.

Сергей Голицын, побывавший в этом городе у своих родных, писал, что Истомины жили тем, что вязали чулки. Этот промысел придумал другой живший в Сергиевом Посаде, тоже «бывший» – Алексей Лопухин (о нем будет рассказано ниже). Истомин купил чулочную машину, но трудно было достать нитки. Одна только несовершеннолетняя Ксения Истомина имела право покидать Тверь. Она и ездила в Москву за нитками и отвозила готовые чулки. Нитки были, вероятно, краденые. И это скрывали от Петра Владимировича, человека безупречной честности.

«Жили Истомины в Твери, – писал С.М. Голицын, – в сыром, неуютном подвале, в комнате, в которой все стены были увешаны иконами и фотографиями. Петр Владимирович, невысокого роста брюнет с прозрачным пенсне на небольшом носу, встретил меня очень сердечно... В тот вечер он много мне рассказывал о соловецкой, до 1929 года, относительно свободной жизни, о тамошнем быте. У него был очень характерный, слегка надтреснутый, невозмутимый при любых обстоятельствах голос. Он показывал мне совершенно уникальные соловецкие фотографии, на одной из них он сидел вместе с тремя митрополитами, которые призваны были возглавлять православную церковь, а на самом деле жили вдали от церковных дел...».

В 1929 году, по воспоминаниям Ксении Истоминой (в замужестве Трубецкой), ссыльных лишили хлебных карточек, дав возможность покупать хлеб в одном ларьке, где его застать было крайне трудно. Хлеб она стала привозить из Москвы, где добрые люди делились своими карточками. В конце 1931 года, когда кончился трехлетний срок высылки, семья Истоминых уехала из Твери и поселилась под Москвой, на станции Катуар Киевской железной дороги. В следующем году началась паспортизация. Истоминым, как лишенцам, паспортов не дали. Из-под Москвы пришлось уехать.

Переехали они в Орел, где тогда отбывал после Соловков свои «минус шесть» князь Иван Сергеевич Мещерский (1893–1937), в прошлом офицер лейб-гусарского полка. В Сергиевом Посаде он с женой жил по соседству с Истомиными, а три его тетки – в истоминском доме. Известный историк Н.П. Анциферов писал о своей встрече с Мещерским на Соловках: «...Иван Сергеевич был благородный, стойкий человек. Внешне он походил на древнерусского князя с новгородской иконы. Как он мужественно

переносил все невзгоды, все беды! Мне очень нравилась его манера себя держать, столько в нем было достоинства, внутреннего спокойствия».

В Орле Мещерский помогал очень многим, сам ведя образ жизни предельно скромный. Это были голодные годы. Продукты можно было купить только в торгсине. А у Ивана Сергеевича было много родственников, от которых он получал валюту на торгсин. Однажды к нему пришел нищий монах, которому посоветовали отбывать после Соловков «минус шесть» именно в Орле, «потому что там есть такой князь, который всех нуждающихся поддерживает».

Позвал Мещерский в Орел и Истоминых. Жили они в Орле на средства, которые получали из-за границы – им посылали валюту для торгсина итальянская королева и сын бывшего сослуживца Истомина, князя В.Н. Орлова. Помогал им и Мещерский.

Зимой 1934 года в Орле были проведены аресты. Взяли Петра Владимировича и его детей, а также и Мещерского. Их обвинили в создании монархическо-религиозной организации. Кроме того, к Истоминым незадолго до ареста приезжал Алексей Комаровский. Следователь утверждал на допросе, что это был японский шпион.

Ксения Истомина (Трубецкая) вспоминала: «Содержали нас сперва в орловской тюрьме, которая была знаменита тем, что в ней в свое время сидел Дзержинский. Нас водили в музей-камеру и показывали ее с какими-то рассказами о тяжести его заключения. В камере была одна койка, стол и стул. Мы сидели в такой же по размеру камере вчетвером, спали на голых нарах. Кроме того, тюрьму плохо отапливали, а потом, пока еще лежал снег, в камере вынули раму, так что осталась одна решетка, и было очень холодно. А рамы, как нам пояснили, использовали для парников. Моя мать и Екатерина Александровна Мещерская, жена Ивана Сергеевича, приносили нам прекрасные передачи. Охрана с удовольствием принимала мелкие взятки, в особенности папиросы, и начала нам потакать. Все это были, конечно, пустяки, и сводились они, главным образом, к коротким встречам друг с другом. Однако начальство разгневалось, и нас перевели из Орла в Воронеж, в тюрьму со строгим названием "особого назначения"».

Заключение продолжалось около трех месяцев, после чего Истомины получили по три года ссылки в город Кокчетав (Казахстан). Там Петр Владимирович впервые поступил на государственную службу – бухгалтером в кинематограф. С всегдашней добросовестностью он тщательно изучил бухгалтерию по специальным пособиям. Его сын Сергей почти самостоятельно изучил к тому времени математику и стал ее преподавать в школе механизаторов. Ксения поступила на завод счетоводом.

Жили они у озера Коп, где было много рыбы. Петр Владимирович раньше очень любил ловить рыбу, но здесь, поймав 2–3 рыбины на удочку, бросил это занятие. Он объяснил потом, что не может больше вытаскивать крючок из живой, трепещущей в руках рыбы.

Здесь случилось несчастье: Сергей, выпив воды из озера, заболел тифом и через несколько дней умер в больнице. Недели через две после его кончины его отец сказал: «Слава Богу, что Сергей скончался. Этим он избавлен от многих страданий».

В конце декабря 1936 года Петра Владимировича вновь арестовали. Вспоминая отца, Ксения писала: «Отец был полностью предан семье и уделял ей большое внимание, но долг служебный, а позднее неуклонное выполнение того, что составляло его

убеждения, превышали отношение к семье. Подтверждается это постоянным бесстрашием, которое часто угрожало его свободе. Не было случая, в котором бы он смолчал, если речь заходила о вопросах, связанных с его убеждениями...

Одевался он всегда (подразумеваю годы нужды), я бы сказала, строго. Так, неизменно носил под курткой белую рубашку с галстуком. Был решительно во всем очень аккуратен. Думаю, у Истоминых строгий во всем порядок отчасти объяснялся морским родством – теснота кают приучила все держать на своем месте.

С внешней упорядоченностью сочеталась... редкая вежливость и даже почтительность не только к любому взрослому человеку, но и к ребенку. Никогда отец не говорил громко и не производил резких движений, если мог этим кого-либо обеспокоить; уступал места настолько часто и в необязательных случаях, что, помню, мы с братом на это даже иногда досадовали.

На письма отец отвечал безотлагательно, писал их прекрасно и даже в не очень значительных случаях нередко сперва составлял черновики. Знаю, что и на службах его ценили за красоту и ясность слога... Когда отец сидел за столом с людьми, он неизменно привлекал внимание окружающих и очень часто возглавлял беседу.

Отец очень любил деревню и искусно составлял букеты из самых простых цветов, в которые непременно входила белая и розовая кашка...».

После ареста Петра Владимировича в конце 1936 года о нем никаких сведений не было. Видимо, он погиб в 1937 году.

А Мещерский, проходивший с ним в 1934 году по одному делу, попал на Колыму. Там он дошел до полного истощения, ослеп и был пристрелен конвоиром, которому лень было перегонять его куда-то по назначению. Об этом рассказал Ксении Петровне через много лет муж ее двоюродной сестры, который после отбытия срока работал на Колыме вольнонаемным.

Лопухины

Алексей Сергеевич Лопухин (1882–конец 1966) стал известен в Сергиевом Посаде благодаря тому, что придумал вязать чулки «железная пятка». Он купил чулочную вязальную машину, быстро ее освоил и модернизировал: вынул каждую пятую вязальную спицу, и чулок получался ажурный, с прозрачными продольными полосками, а пятку вязал в два слоя, поэтому чулок получался долговечным.

Попал же С. Лопухин с семьей в Сергиев Посад, на Красюковку, из Тульской тюрьмы. Был он, по словам его племянника С.М. Голицына, мечтатель, идеалист, хороший человек, но уж очень инертный, его сравнивали с Обломовым. Он имел университетское образование. Когда началась Первая мировая война, попал на турецкий фронт, работал в службе тыла. Не ушел с отступающей белой армией, видимо, просто потому, что любил сидеть на месте. Остался в Нальчике, занимал, как и при белых, должность мирового судьи. Там он и женился на сестре милосердия, баронессе Фекле Богдановне Мейендорф.

С должности судьи его скоро выгнали. Дело было так. В первые годы революции ни гражданского, ни уголовного кодекса не было. Честные судьи решали дело в соответствии со здравым смыслом и законами царского времени. Но существовала еще и так называемая «революционная законность», которую нормальные юристы считали произволом. Однажды к С.А. Лопухину привели двух арестованных. Одного из них обвиняли в том, что он «бывший граф», а другого привлекли «за соучастие». Лопухин не нашел в их действиях состава преступления, тем более, что никто из них не был графом, и распорядился их освободить. Вот за эту «мягкотелость» его и выгнали.

В Тульской губернии у Лопухиных было имение Хилково с большим фруктовым садом. В то время власти решили сдавать в аренду бывшие помещичьи сады, причем преимущественно прежним владельцам. Сестра А.С. Лопухина, Анна Сергеевна Голицына, жившая тогда с семьей в Богородицке Тульской губернии, смогла получить мандат на сдачу фруктового сада в Хилкове своему брату и одному богородицкому купцу. И Лопухин с женой и ребенком приехал туда из Нальчика. В Хилкове он снял избу. Лопухинский сад – яблони, груши и вишни – занимал 14 десятин. Вот что писал С.М. Голицын, ребенком гостивший у своего дяди: «Как разнообразны были сорта яблок в Хилкове – по форме, по окраске, по вкусу! Летние сорта – грушовка, ранет, аркат, анис, коричное, белый налив, мирончики, колобовка. А основными сортами являлись зимние, поспевавшие позднее и сохранявшиеся до весны: боровинка, титовка, скрижапель, пепин, апорт и особенно вкусный штрифель и царица яблок – несколько разновидностей антоновки, окраски от бледно-желтой до оранжевой. Сейчас в Москве продаются, может быть, и красивые, но пресные и совсем безвкусные разные заморские яблоки. А русские яблоки моего детства изредка попадаются лишь на рынке у частных».

В 1924 году Алексея Сергеевича арестовали. Он повез яблоки на продажу в Москву (в том году урожай был скромный) и заодно захватил послание Патриарху Тихону, написанное несколькими священниками. Священники изъявляли покорность Патриарху и сообщали, что подчиняться «Живой церкви» не будут. Когда Лопухин вернулся, он и был арестован.

Благодаря хлопотам сестры – Анны Сергеевны Голицыной он был освобожден, но оставаться в своем бывшем имении ему было невозможно. Так оказался Лопухин в Сергиевом Посаде, где уже жило много его родных и знакомых.

Вскоре половина посадских женщин щеголяла в изготовленных им чулках, возил он чулки и в Москву. А его энергичная, никогда не падавшая духом жена в промежутках между приготовлением пищи, посещением лавки, стиркой и другими хозяйственными делами, успевала еще и крутить чулочную машину.

В мае 1928 года А.С. Лопухина, как бывшего аристократа и помещика, арестовали в числе тех 80-ти человек, которые проходили по так называемому делу «Антисоветской группы черносотенных элементов в г. Сергиево Московской области». Его выслали в Тверь. Там он продолжал вязать чулки, пока не догадался, что нитки, из которых их делали, были крадеными. Будучи честным человеком, к тому же юристом, он возмутился и отказался от такого заработка. Ему удалось поступить в Тверской горкомхоз на должность «пробёра». Ежедневно, без выходных, он брал пробы воды в Волге и ее притоках, для чего ему приходилось проходить вест пятнадцать. Жена сшила ему из мешка специальный пояс с восемью карманами – по числу мест, из которых надо было брать пробы. «Тяжело ему приходилось зимой, бутылки он сберегал от мороза, согревая их теплом своего тела, но вынужден был таскать с собой пешню, чтобы пробивать лед. Заведующий лабораторией мог быть спокоен: пробёр доставал воду в точно указанных местах. Заработок его был небольшой, но зато он получал продовольственные карточки на себя, на жену, на детей и на верную, всюду их сопровождавшую няню Ганю...». (С.М. Голицын).

В 1935 году братья Мейендорфы выкупили за валюту свою сестру, ее мужа – Алексея Сергеевича Лопухина и семерых их детей. Они уехали в Эстонию, где у Мейендорфов был родовой замок. С.М. Голицын писал, что перед отъездом Алексей Сергеевич приезжал прощаться – жалкий, удрученный, не знающий, что его ждет.

Когда наши войска заняли Эстонию, Лопухиным удалось получить разрешение на выезд в Германию (жена Лопухина была немкой), и они уехали в Берлин. Май 1945 года Лопухины встретили там. Потом семья переехала в Америку. Оттуда А.С. Лопухин прислал письмо, «... он вспоминал, в какой нищете жил и плодил детей, писал, что все они завели свои семьи, все остались православными, у всех просторные квартиры, все имеют по две автомашины, у всех много детей. И он сам над ними – как глава многочисленного рода. Ни мы не знаем своих двоюродных, ни они нас не знают...».

Этими словами писатель закончил рассказ о своем дяде А.С. Лопухине.

Прошло несколько лет, и выяснилось, что одна из его дочерей, Татьяна Алексеевна, вместе с мужем много лет занималась изданием русских духовных, исторических и мемуарных трудов, обеспечивала русской литературой русские приходы в США. А в годы тоталитаризма они переправляли в нашу страну запрещенные книги, в том числе книги о репрессиях, о преследованиях священников и верующих.

Другие дети Лопухина – Сергей и Елена со своим мужем занимались созданием и развитием воскресных школ для детей русских эмигрантов в США, составляли для этих

школ учебные пособия. Они не забыли Россию, которую вынуждены были покинуть малыми детьми.

Нарышкины

Летом 1926 года в газетах был опубликован список 20 расстрелянных, среди которых был и Владимир Нарышкин – бывший лейб-гусар, потерявший на войне ногу. Расстрелян он был через три дня после ареста. Вскоре в Сергиев Посад вместе с сыном Алешей приехала Софья Павловна, его жена.

С.М. Голицын так описывает карандашный портрет, увиденный им на выставке, под которым стояла подпись: «Портрет мальчика (1926 г.), Фаворский»: «Сидел, вытянувшись вперед, мальчик с тоненькими, странно изогнутыми голыми ручками и остроугольными плечиками, на тоненьких ножках коротенькие штанишки; поражали его большие удивленные глаза, и рот был удивленно раскрыт... Я узнал Алешу Нарышкина. В этом потрясающем портрете простым карандашом Фаворский сумел уловить не скорбь, а словно бы удивление мальчика, который делится с друзьями своею новостью: "А знаете, на прошлой неделе мой папа был убит большевиками..."».

Алеше было 10 лет.

Казнили этих двадцать человек в ответ на террористический акт (в здание на Лубянке кем-то была подложена бомба, взрывом оторвало кусок стены, жертв не было).

Нарышкиных сначала приютили Трубецкие, потом им нашли жилье поблизости, на Красюковке, в угловом доме напротив церкви Михаила Архангела.

С Алешей подружился Андрей Трубецкой. «Насколько я представляю и понимаю Алешку, – вспоминал А.В. Трубецкой, – в нем уже тогда чувствовался какой-то надрыв. Возможно, это объяснялось тем, что его отец расстрелян... Список расстрелянных опубликован в газетах, и уличные мальчишки дразнили Алешку: "Отец расстрелян!" На этой ли почве или это только усугубило, но мать Алешки была не совсем "в себе". Все это, конечно, сказывалось на сыне».

В начале 1930-х годов Нарышкины уехали за границу – их выкупил за большие деньги родственник, Н.С. Арсеньев. В 1943 году Андрей Владимирович Трубецкой встретился с другом детства в Берлине. Алексей Нарышкин расспрашивал о Тате (Александре), сестре Андрея Владимировича, о ее судьбе. «Вскоре после того, как отец и старшая сестра Варя исчезли из нашего дома, – рассказывал А.В. Трубецкой, – Татю вызвали в городское управление НКВД, откуда она уже не вернулась. Ей было тогда восемнадцать лет (в 1937 году – Т.С.), и она только что вышла замуж за однокурсника с рабфака. А через некоторое время к нам домой пришла женщина, сидевшая с Татей в одной камере. Она рассказала, что от сестры требовали оклеветать отца и Варю. Татя отказалась, и ее оставили на десять лет. О дальнейшей судьбе Тати я знал только, что она в лагере под Соликамском.

Алешка все это выслушал весь притихший, не прерывая меня ни звуком, а потом после долгого молчания спросил: "Вспоминала ли она меня? А если б я остался, пошла бы за меня замуж?" Я, нисколько не думая его задеть, очень спокойно, даже с какой-то равнодушной усмешкой, как вспоминают детские причуды, что нет, насколько я помню,

она его не любила. Он отвернулся и тихо заплакал. Я никак не ожидал этого и был потрясен, стал как-то неумело успокаивать и утешать его, что что-то вроде и было... Он, видимо, мне отчасти поверил, ведь мы с сестрой дружили, как никто в нашей большой семье. Успокоившись и придя в себя, Алешка сказал, что это были самые лучшие годы его жизни, несмотря ни на голод, ни на гонения и притеснения, которые они с матерью пережили. И опять мы вспоминали нашу мальчишескую жизнь, дружбу, и чувствовалось, что это, действительно, его лучшие воспоминания в жизни. После выезда из Советского Союза он жил в Швейцарии у чопорных теток, чужой в чужой среде. Потом переехал в Берлин к тете Оле и дяде Васе (Арсеньевым. – Т.С.), тоже без друзей и товарищей с единственными помыслами и мечтами о далекой, детской чистой любви.

Сойдясь в эти дни с ним поближе, я увидел, что он душевно надломлен, что он неудачник, который не смог выбраться и найти место в жизни, хотя это был очень способный и умный парень. Я думаю, останься он в России, то и тут его бы в порошок стерли и уничтожили, если не физически, то морально...».

А Татя умерла в лагере в 1943 году.

Челищевы

После 1917 года судьба порой соединяла людей, которые могли бы и не встретиться при иных обстоятельствах. «Ты не появился бы на свет, если бы не революция», – говорила сыну Ольга Александровна Челищева (1897–1980), урожденная Грёссер. И ее, и ее будущего мужа Федора Алексеевича (1879–1942) судьба занесла после революции в Сергиев Посад, где они впервые познакомились, а потом оба получили «минус» и встретились в высылке во Владимирской области.

Обе семьи – Челищевы и Грёссер – старинные, дворянские, обе относятся к родам-выходцам «от немец». Челищевы ведут род от короля Германии, императора Священной Римской империи Оттона IV, потомок которого пришел ко двору Александра Невского. Грёссер – из курляндских дворян, пришедших в Россию в царствование Анны Иоанновны. Челищевы, прославившиеся в истории России, стали богатыми московскими помещиками, а Грёссеры, известные воинскими подвигами, – питерскими военными сановниками. Это были разные круги общества, до революции мало соприкасавшиеся друг с другом.

Их сын пишет: «Трудно сейчас понять, что их связывало: значительная разница в возрасте, разное воспитание, разный темперамент. Но было и общее: глубокая религиозность, полное неприятие советского образа жизни».

Ф.А. Челищев окончил историко-филологический факультет Московского университета, жил в имении Федяшево Тульской губернии, работал в земстве, участвовал в создании сельских школ. Он много путешествовал по Европе, играл на виолончели, писал стихи. Во время Первой мировой войны был санитаром в Западной армии, а потом его мобилизовали в артиллерию. Вернулся домой в 1918 году. Дом в усадьбе был разграблен: крестьяне вынесли все, кроме книг. Федор Алексеевич и поселился в библиотеке.

К осени 1918 года относится одно из его стихотворений:

*Я гнилушек наберу для света
И огня не буду зажигать.
В них мерцанье золотого лета
Долго-долго будет догорать.
И порой безвременья унылой,
В долгие ненастливые дни
Как привет мне из отчизны милой
Будут эти робкие огни.*

Однако оставаться в усадьбе было опасно, и с матерью он уехал в другое свое имение, потом – в имение родственников. В это время было взято под охрану как музей поместье А.С. Хомякова, известного славянофила и поэта, в селе Богучарове (мать Федора Алексеевича была дочерью Хомякова). Челищев стал хранителем музея своего деда, но вскоре был арестован, а музей закрыли. Его мать переехала в Сергиев Посад, жила на Красюковке, в доме Марии Виссарионовны Алексеевой. Через год Федора Алексеевича выпустили из заключения, и он приехал к матери. Но зимой 1925 года его снова арестовали по так называемому делу «Сергиевской самаринской группировки». Он полгода просидел в Бутырской тюрьме, а потом на три года был сослан в Зырянский край (Коми АССР). После, получив «минус», поселился во Владимире.

Ольга Александровна Грессер воспитание получила в Англии, куда ее отправили в семилетнем возрасте. Вернувшись в Россию, она окончила и курсы иностранных языков, преподавала в гимназии. После Октябрьской революции французский язык был исключен из образовательных программ как буржуазный, и ее уволили. Во время гражданской войны вместе с Белой армией она оказалась на Кавказе. Там она окончила курсы медицинских сестер, участвовала в боях. Потом Ольга Александровна была мобилизована красными и работала в госпитале.

Приехала в Сергиев Посад и в середине 1920-х годов была арестована (арест был связан с разгромом Зосимовой пустыни). В тюрьме ей не давали спать, на допросах светили яркой лампой в глаза. Сослали, потом дали «минус», и она оказалась во Владимире.

Каждые две недели ей надо было ходить отмечаться в милиции, как и Челищеву. Они встретились. Ему был 51 год, ей – 33. Обвенчались в деревенской церкви под Владимиром. Никаких торжеств – пустая церковь, без родных, без друзей. Сняли маленькую комнату, жили в нищете.

С.М. Голицын побывал у Челищевых во Владимире. Он так вспоминал встречу с ними: «Домик, где проживал Федор Алексеевич, находился на склоне горы недалеко от вокзала. И он, и его жена приняли меня, что называется, с распростертыми объятиями. Чудный и чудной был человек милейший Федор Алексеевич – глубоко религиозный, идеалист-философ, бывший тульский помещик... Чем он занимался, не знаю, а к советской власти никак не мог приспособиться, менял должности, учил чьих-то детей и никогда не падал духом. Высокий, чернобородый, в очках, он тайно писал стихи, любил потолковать о литературе, о русской истории. А когда я к нему тогда явился, был он еще безмерно счастлив, потому что совсем недавно женился.

Жена его Ольга была под стать ему – такая же глубокая религиозная идеалистка... Ее отец, бывший одесский градоначальник, а также ее сестра и брат где-то отбывали сроки заключения, а она, уже пожилая, вышла замуж за такого же пожилого. И ничего им не было нужно, лишь бы оставили их в покое».

Сын Федора Алексеевича полагает, что главным источником поразительной нравственной стойкости и неиссякаемой жизнерадостности отца была память о светлом прошлом. Постоянно теплилась надежда на весточку, на встречу со своей матерью, которую он так любил. Но им не суждено было встретиться, даже перед ее смертью. Ольга Алексеевна жила в Сергиевом Посаде, куда Федор Алексеевич приехать не мог. Она пережила мужа, четверых детей, многих родных и близких. Была «лишенкой», то есть лишенной избирательного права, со всеми вытекающими отсюда последствиями. В списках «лишенцев» 1928 года даже не была указана причина лишения, видимо, достаточно было дворянской фамилии. Жила Ольга Алексеевна в одиночестве и нищете. Сын, вызванный из Владимира телеграммой, уже не застал ее в живых.

Он писал:

*...Для меня ты теплила лампаду,
Но час настал, масло догорело.
Тебя зовут... Ты лампадку загасила,
Как перед сном всякий вечер, и тихо вышла,
Никем не видима;
Но на пороге
Ты оглянулась и всех крестом ознаменала,
Всех нас – оставшихся и еще не пришедших.
И в комнате твоей темно и тихо...
И я стою один с глубокой думой...
Ты, видишь ли меня?
Ты близко ль?
Иль отныне
Твоим очам уже не суждено видеть
Земную нашу немощь?!*

Февраль 1933 г. Муром.

9 июня 1933 года у Челищевых родился сын Николай. Крестил ребенка о. Сергей Сидоров. Челищевы жили тогда в Муроме Владимирской области с временной пропиской, под надзором органов. Чтобы прокормить ребенка, сдавали в торгсин остатки семейного серебра – ведь Федор Алексеевич был «лишенцем» и долго не мог получить работу. Подрабатывал уроками, черчением. Но в анкетах на вопрос о социальном происхождении отвечал «из дворян», а не «из служащих», как писало большинство.

«Жизнь была трудной, но небезрадостной, – вспоминает Николай Челищев. – Мои родители, выросшие в атмосфере материальной и душевной комфортности, мужественно переносили бесконечные лишения и моральные правила советской жизни. Все мое раннее детство прошло без электричества. Поэтому долгие зимние вечера сохранились в памяти пятном света от керосиновой лампы или коптилки на столе и таинственным полумраком

вокруг. Нередко топящаяся печка была единственным источником освещения. В такие вечера отец с помощью рук ловко показывал тени различных животных на стене».

А вокруг все было пропитано страхом – надвигались годы большого террора. И порой человек встречался в толпе взглядом с палачом.

*Человек – как и все, коих встретишь всегда,
Так же он и побрит и одет...
Но глаза эти буднично смотрят туда,
К нам, откуда свидетелей нет.*

*И в толпе, где рассеянный взор твой скользит,
По бродящим туда и назад,
Вдруг почувствуешь страшно, что кто-то глядит,
И внезапно ваш встретится взгляд.*

*Отвернется, досадливо дернув плечом,
И улыбка скривится у рта.
Но тебе не забудется долго потом
Этих страшных двух глаз пустота.*

Март 1934 г. Муром.

Вскоре после рождения ребенка Челищевы переехали в село Норское под Ярославлем, где и пережили массовые репрессии 30-х годов. Н.Ф. Челищев пишет: «Отец ходил через замерзшую Волгу пешком в Затон, где он за гроши работал библиотекарем (летом была лодочная переправа). Мать работала в медпункте при ткацкой фабрике, и каждое утро затемно катила меня на санках по заснеженной пятикилометровой дороге в ясли. Сохранились в памяти бледные люди в черных ватниках на расчистке зимней дороги – заключенные и охрана с винтовками в огромных овечьих тулупах».

Дом, где снимали комнату Челищевы, в 1939 году сгорел, все имущество пропало. Приехали в Москву, остановились у родственников – графов Бобринских. Но в Москве для «бывших» жилья не нашлось. Сняли маленькую комнатку на ветхой даче в Мытищах под Москвой. Челищев получил временную работу в Институте истории, философии и литературы в Москве, а его жена работала медсестрой в Мытищах.

Николай Челищев вспоминает: «Новый 1941 год мы встречали в холодной мытищинской комнате черным хлебом с солеными огурцами и чаем со слипшимися кофейными леденцами. Предвоенное «изобилие», о котором любят вспоминать старые большевики, было только для них – в закрытых распределителях, количество которых во время войны еще увеличилось. Для нас же впереди были долгие голодные и холодные военные годы. Мы с отцом вырыли щель в огороде на случай бомбежки, и мать ставила туда молоко. В первый же большой налет я полез в укрытие и разбил банку с молоком».

Осень 1941 года Челищевы провели у Бобринских в Москве, в Трубниковском переулке. Федор Алексеевич по ночам дежурил на крыше во время налетов.

Когда возникла опасность, что сына эвакуируют отдельно от родителей, мать с сыном перебралась в село под Владимиром. Отец приехал к ним позже, по дороге его

начисто обворовали. А то, что еще осталось, пришлось вскоре обменять на продукты. Школа в селе не работала, поэтому к зиме перебрались на окраину Владимира. Мать работала в две смены в психиатрической больнице, отец старался добыть топливо для печки.

Для Федора Алексеевича невзгоды войны оказались выше его сил. Он умер в январе 1942 года от голода, холода и усталости – не выдержало сердце. Его похоронили на кладбище на окраине города, у стен Владимирской тюрьмы.

Его сын долго не мог осознать, что отец умер. Видел его во сне. «Это была тяжелая зима, – вспоминает он. – Морозы не ослабевали... Главными нашими врагами в ту зиму были голод, холод и вши. Подсолнечный жмых казался много вкусней довоенной халвы. Мы затирали числа на карточках и забирали хлеб на неделю вперед. В конце каждого месяца приходилось жить совсем без хлеба. Я опухал от голода. Мать сдавала кровь и скармливала мне паек, который полагался донорам... Весной я посадил на могиле отца маленький клен, принесенный из леса. Мои военные годы во Владимире прошли в беспризорной среде обитателей бараков с матом, курением, драками... Но остались в памяти и походы в лес за черникой, и ночная рыбалка на Клязьме, и помидорная грядка под окном... Когда я с женой и дочерью приехал во Владимир много лет спустя, все кладбище заросло кленами. Могилы отца не было».

Николай Федорович Челищев получил в 12 лет такой наказ от своей тетки, Марии Алексеевны Бобринской: «Коля, всегда помни, что ты – сын своего отца. Пусть кругом лгут, крадут, доносят... Но я сама никогда этого не сделаю, и ты никогда этого не сделаешь, потому что мы – Челищевы».

После войны Николай Федорович жил со своей матерью в Хотькове под Загорском. Она работала в психиатрической больнице. Он окончил среднюю школу с медалью. Но не стал получать гуманитарного образования: «Просто не приходило в голову, что можно профессионально заниматься историей, философией, литературой и другими строго идеологизированными дисциплинами в советских условиях, – пишет он. – Мои сверстники, дети «бывших», и я вместе с другими стали геологами, химиками, нефтяниками, лесниками... Конечно, от этого в стране не стало меньше «историков», «философов», «литераторов»...»

После окончания школы его пытались заставить пойти в училище МВД. Он сбежал из военкомата и отказался от московской прописки. Окончил технический вуз, работал заведующим лабораторией. Дальнейшей карьеры не сделал, потому что был беспартийным. Сейчас живет в Лондоне. В 2000 году опубликовал книгу стихотворений отца со своими комментариями.